

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ШАПКА

Владимир Войнович

Шапка

«ЭКСМО»

Войнович В. Н.

Шапка / В. Н. Войнович — «Эксмо»,

© Войнович В. Н.

© Эксмо

Владимир Войнович

Шапка

Когда Ефима Степановича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:

– Я всегда пишу о хороших людях.

И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.

Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и тем не менее проталкивать свои книги по мере написания, примерно по штуке в год, без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле – и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор «Сони» и финский холодильник «Розенлев». Квартиру, кроме того, украшала коллекция диковинных предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций. Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: оленин рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцирь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глиняные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне коллекцию, Ефим почтительно комментировал: «Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это – спелеологи».

В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал друг Ефима Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались «Нужная книга», «Полезное чтение», «Это надо знать всем» или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.

Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы, повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди как на подбор хорошие, прекрасные, один лучше другого.

Ефим меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и длительного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.

Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, в суровых условиях действуют другие законы и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. «В каком смысле нельзя? – спрашивал я. – В том смысле, что не найдется среди них ни одного, который сбежит? Не найдется ни одного,

который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот, и тот, – кто из них хороший, а кто плохой?»

В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.

Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буря, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откочки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-то иным, опасным для здоровья способом.

Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.

Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан.

Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например переиздания книги, до самых ничтожных вроде подписки на журнал «Наука и жизнь». А уж как он хлопотал о том, чтобы «Литературка» отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, – об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных эпитетов, а вместо ордена ему в порядке общей очереди была вручена Почетная грамота ВЦСПС.

Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью «За победу над Германией». Двадцать или тридцать лет спустя ему за то же самое дали юбилейную медаль, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом – медаль «За освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа «Скважина», посвященного, между прочим, не западносибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: «Имею правительственные награды». А иной раз он писал не «правительственные», а «боевые», так звучало эффектней.

Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома выдавали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся, засахаренный мармелад «Лимонные дольки». Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью «Дело».

Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь, и оказывая честь, которой он не каждого удостоивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).

– Знаешь, – говорил он, отводя при этом глаза, – мне очень важно знать твое мнение.

Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться:

– Ну зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.

Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения.

И, конечно, я всегда давал слабину.

Однажды, впрочем, я сильно на Ефима рассердился и сказал не ему, а своей жене:

– Вот придет, и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольникова, который убивает старух, про человека в футляре или про Остапа Бендера. А мой любимый герой – дезертир, торгующий краденными собаками.

– Подожди, не горячись, – попыталась меня утихомирить жена. – Посмотри хотя бы первые страницы, может быть, в них все-таки что-то есть.

– И смотреть не желаю! В них ничего нет и быть не может. Глупо ожидать от вороны, что она вдруг запоет соловьем.

– Но ты хоть полистай.

– И листать нечего! – Я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.

Жена вышла, а я, поостыв, стал собирать листки, заглядывая в них и возмущаясь каждой строкой. В конце концов я пролистал всю рукопись, прочел несколько страниц в начале, заглянул в середину и в конец.

Роман назывался «Перелом». Один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, он находится в поселке за сто пятьдесят километров, и имеющийся у экспедиции вездеход, на беду, сломался. И вот хорошие люди несут своего мужественного товарища на руках в дождь и снег, через топи и хляби, переживая невероятные трудности. Больной хотя и мужественный, но немного отсталый. По-хорошему отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец нужной жилы, которая очень нужна государству. А раз нужна государству, то и для него она дороже собственной жизни. (Хорошие люди тем особенно и хороши, что своей жизнью особо не дорожат.) Герой просит его оставить и получает, разумеется, выговор от хороших своих товарищей за оскорбление. За высказанное им предположение, что они могут покинуть его в беде. И хотя у них кончились все припасы – и еда, и курево – и ударили морозы, они все-таки донесли товарища до места, не бросили, не пристрелили, не съели.

Все было ясно. На листке бумаги я набросал некоторые заметки и ждал Ефима, чтобы сказать ему правду.

В четверг, как всегда, он явился нагруженный своим раздутым портфелем, из которого и мне досталась банка болгарской кабачковой икры.

Мы поговорили о том о сем, о последней передаче «Голоса Америки», о наших домашних, о его сыне Тишке, который учился в аспирантуре, о дочке Наташе, жившей в Израиле, обсудили одну очень смелую статью в «Литературной газете» и оценили шансы консерваторов и лейбористов на предстоящих выборах в Англии. Почему-то отношения консерваторов и лейбористов Ефима всегда волновали, он регулярно и заинтересованно пересказывал мне, что Нил Киннок сказал Маргарет Тэтчер и что Тэтчер ответила Кинноку.

Наконец я понял, что уклоняться дальше некуда, и сказал, что рукопись я прочел.

– А, очень хорошо! – Он засуетился, немедленно извлек из портфеля средних размеров блокнот с Юрием Долгоруким на обложке, а из кармана ручку «Паркер» (подарили океанологи) и выжидательно уставился на меня.

Я посмотрел на него и покашлял. Начинать прямо с разгрома было неловко. Я решил подсластить пилюлю и сказать для разгона что-нибудь позитивное.

– Мне понравилось... – начал я, и Ефим, подведя под блокнот колено, застрочил что-то быстро, прилежно, не пропуская деталей. – Но мне кажется...

Паркеровское перо отделилось от блокнота, на лице Ефимовом появилось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали. Это была не осознанная тактика, а феномен такого сознания, обладатели которого видят, слышат и помнят только то, что приятно.

– Ты меня не слушаешь, – заметил я, желая хотя бы частично пробиться со своей критикой.

– Нет-нет, почему же! – Слегка смутясь, он приблизил перо к бумаге, но записывать не спешил.

– Понимаешь, – сказал я, – мне кажется, что, сломав ногу, человек, даже если он очень мужественный и очень хороший, во всяком случае, в первый момент, думает о ноге, а не о том, что государству нужна какая-то руда.

– Кобальтовая руда, – уточнил Ефим, – она государству нужна позарез.

– А, ну да, это я понимаю. Кобальтовая руда, она, конечно, нужна. Но она там лежала миллионы лет и несколько дней, наверное, может еще полежать, каши не просит. А нога в это время болит...

Ефим поморщился. Ему было жаль меня, чуждого высоких порывов, но спорить, он понимал, бесполезно. Если уж в человеке чего-то нет, так нет. Поэтому он ограничил нашу дискуссию пределами, доступными моему пониманию, и спросил, что я думаю об общем построении романа, о том, как это написано.

Написано это было, как всегда, из рук вон плохо, но я увидел в глазах его такое отчаянное желание услышать хорошее, что сердце мое дрогнуло.

– Ну, написано это... – Я немного помялся. – ...Ну, ничего. – Посмотрел на него и поправился: – Написано довольно хорошо.

Он просиял:

– Да, мне кажется, что стилистически...

За такой стиль, конечно, надо убивать, но, глядя на Ефима, я промямлил, что по части стиля у него все в порядке, хотя есть некоторые шероховатости...

Тут он полез в карман, то ли за платком, то ли за валидолом, и я понял, что даже некоторых шероховатостей достаточно для небольшого сердечного приступа.

– Маленькие шероховатости, – поспешил я поправиться. – Совсем небольшие. А впрочем, может быть, это мое субъективное мнение. Ты знаешь, меня и раньше всегда ругали за субъективизм. А объективно это вообще хорошо, здорово.

– А как тебе понравилось, когда Егоров лежит и смотрит на Большую Медведицу?

Егоровым, кажется, звали главного героя. А вот где он лежит и на что смотрит, этого я припомнить не мог и вынужденно похвалил Егорова и Большую Медведицу.

– А сцена в кабинете начальника главка? – посмотрел на меня Ефим, поощряя к нарастающему восторгу.

О боже! Какого еще главка! Я был уверен, что там все действие происходит только на лоне недружелюбной природы.

– Да-да-да, – сказал я, – в главке это вообще, это да. И название очень удачное, – добавил я, чтобы подальше уйти от деталей.

– Да, – загорелся Ефим. – Название мне удалось. Понимаешь, речь же идет не просто о переломе конечности. Это было бы слишком плоско и примитивно. Одновременно происходит перелом в отношении к человеку, перелом в душе, перелом в сознании... Там, ты помнишь, они понесли его к больнице и видят за замерзшим окном расплывшийся силуэт...

Разумеется, и этого я не помнил, но о силуэте отозвался самым одобрительным образом и, чтоб избежать дальнейших подробностей, вскочил и, пряча глаза, поздравил Ефима с удачей.

Моя жена вылетела на кухню, и я слышал, как она там давилась от смеха, а он, пользуясь ее отсутствием, кинулся ко мне с рукопожатием.

– Я рад, что тебе понравилось, – сказал он взволнованно.

Покинув меня, он, как и следовало ожидать, тут же разнес по всей Москве весть о моем восторженном отзыве, сообщил о нем, кроме прочих, Баранову, который немедленно позвонил мне и, шепелявя больше обычного, стал допытываться, действительно ли мне понравился этот роман.

– А в чем дело? – спросил я настороженно.

– А в том дело, – сердито сказал Баранов, – что своими беспринципными похвалами вы только укрепляете Ефима в ложном мнении, будто он в самом деле писатель.

Этот Баранов, будучи ближайшим другом Рахлина, никогда его не щадил, считал своим долгом говорить ему самую горькую правду, иногда даже настолько горькую, что я удивлялся, как Ефим ее терпит.

Ефим жил на шестом этаже писательского дома у метро «Аэропорт» – исключительно удобное место. Внизу поликлиника, напротив (одна минута ходьбы) – производственный комбинат Литературного фонда, налево (две минуты) – метро, направо (три минуты) – продовольственный магазин «Комсомолец». А еще чуть дальше, в пределах, как американцы говорят, прогулочной дистанции, – кинотеатр «Баку», Ленинградский рынок и 12-е отделение милиции.

Квартира была просторная, а стала еще просторнее после того, как семья Ефима сократилась ровно на четверть. Это случилось после того, как дочь Наташа уехала на историческую родину, а точнее сказать, в Тель-Авив. Уехала, между прочим, с большим скандалом.

Чтобы понять причину скандала, надо знать, что жена у Ефима была русская – Кукушкина Зина, родом из Таганрога. Кукуша (так ее ласково звал Ефим) была полная, дебелая, похотливая и глупая дама с большими амбициями. Она курила длинные иностранные сигареты, которые доставала по блату, гуляла, как говорится, «налево», пила водку, пела похабные частушки и вообще материлась, как сапожник. Она работала на телевидении старшим редактором отдела патриотического воспитания и выпускала программу «Никто не забыт, ничто не забыто». Кроме того, была секретарем партбюро, депутатом райсовета и членом общества «Знание», а под лифчиком носила крест, верила в мумие, телепатию, экстрасенсов и наложение рук, словом, была вполне современной представительницей интеллектуальной элиты. Она сохранила девичью фамилию, чтобы не портить себе карьеры, и по той же причине сделала Кукушкиными и записала русскими своих детей. Ее стратегия долго себя оправдывала. Она сама делала карьеру и литературным успехам мужа способствовала чем могла.

Ей уже было сильно за сорок, а у нее все еще были любовники, чаще военные, а из них самый важный – дважды Герой Советского Союза, генерал армии Побратимов. Они познакомились в ту давнюю пору, когда, еще будучи заместителем министра обороны, он увидел Кукушу по телевизору. Она так привлекла генерала, что он взялся курировать передачу «Никто не забыт, ничто не забыто». Мне рассказывали, что во времена, когда Ефим отправлялся с мужественными людьми в дальние командировки или, по выражению Баранова, искать приключений на свою ж... Побратимов присылал, бывало, за Кукушей длинную черную машину с адъютантом – маленького роста брюхатым полковником по имени Иван Федосеевич. Случалось это обычно днем, в самое что ни на есть рабочее время. Иван Федосеевич, в форме, с полным набором орденских планок, являлся в редакцию, по-штатски здоровался со всеми

Кукушиными сослуживцами, широко улыбался всеми своими золотыми коронками и важно сообщал:

– Зинаида Ивановна, вас ждут в Генеральном штабе с материалом.

Кукуша складывала в папку какие-то бумаги и удалялась, а кто и что судачил там за спиной, ее не очень-то волновало.

А когда генерал сам навещал Кукушу, то сначала перед домом появлялся милиционер-регулировщик, потом на двух «Волгах» прибывали и рассредоточивались вокруг дома какие-то люди, похожие на слесарей. В таких случаях, несмотря даже на капризы погоды, на лавке перед подъездом устраивалась парочка влюбленных. Они или пили из одной бутылки вино, или обнимались, причем он (так изображал мне дело Баранов) оттягивал ее кофточку и бормотал что-то в пазуху, где, вероятно, прятался микрофон. Затем появлялось такси, которое, высадив гражданина в темных очках и надвинутой на очки серой шляпе, немедленно укатывало. Наблюдательные соседи заметили, что шофером такси был все тот же переодетый Иван Федосеевич, ну а кем был пассажир, об этом стоит ли говорить?

Из всех Кукушиных любовников генерал Побратимов был самым щедрым и благодарным. Хотя в последнее время он мало чем мог быть полезным. Не угодив высшему начальству, он был смещен за «бонапартизм» и с прилепленными в утешение маршалскими звездами услан командовать отдаленным военным округом. Но и уезжая, он своих друзей не забывал: Тишке Кукушкину помог освободиться от армии, а Ивана Федосеевича устроил военным комиссаром Москвы и способствовал присвоению ему генеральского звания.

Кукушкина Наташа в свое время работала переводчицей в Интуристе и тоже готовилась в аспирантуру, пока не встретила молодого научного сотрудника НИИ мясо-молочной промышленности Семена Циммермана, которому родила сына, названного по настоянию отца Ариэлем в честь (подумать только!) министра обороны Израиля. Кукуша боролась против этого имени как могла, обещала, что никогда внука с таким именем не признает, потом все-таки признала, но называла его Артемом. Коварный Циммерман, однако, подготовил Кукуше еще более страшный удар. Явившись однажды домой, Наташа сообщила, что она и Сеня (Циммерман) решили переселиться на историческую родину и ей нужна справка от родителей об отсутствии у них материальных претензий. Это известие повергло Кукушу в ужас. Она умоляла Наташу опомниться, бросить этого проклятого Циммермана, подумать о своем ребенке. Она попрекала ее своими материнскими заботами, скормленными ей в детстве манной кашей и рыбьим жиром, напоминала о советской власти, давшей Наташе образование, о комсомоле, воспитавшем ее, пугала капитализмом, арабами и пустынным ветром хамсином, плакала, пила валерьянку, становилась перед дочерью на колени и грозила ей самыми страшными проклятиями. Справку она, конечно, не дала и запретила это делать Ефиму. Больше того, она написала в Интурист, в НИИ мясо-молочной промышленности, в ОВИР и в собственную парторганизацию заявления с просьбой спасти ее дочь, по незрелости попавшую в сионистские сети. Но сионисты проникли, видимо, и в ОВИР, потому что в конце концов Наташе разрешили уехать без справки.

Ни на прощальный вечер, ни в аэропорт Кукуша не явилась, а Ефим простился с дочерью втайне от жены и теперь скрывал, что, преодолевая постоянный страх, время от времени получает из Израиля письма, посылаемые ему до востребования на Центральный почтамт.

Наташа и ее муж устроились очень хорошо. Сеня (он теперь назывался Шимоном) определился на какой-то военный завод и получал приличное жалованье, а она работала в библиотеке. Одно только было разочарование, что Ариэль, считавшийся в СССР евреем и бывший им на три четверти, в Израиле оказался русским, поскольку был рожден от русской матери (да и сама мать, всю жизнь скрывавшая свое еврейство, теперь тоже считалась гойкой по той же причине).

Вопреки ожиданиям, отъезд дочери на положении Ефима и Кукуши никак не сказался. Издательство «Молодая гвардия» по-прежнему регулярно издавало его романы о хороших людях, Кукуша продолжала работать над передачей «Никто не забыт...», руководила парткомом и носила крест, а Тишка успешно заканчивал аспирантуру.

Жизнь шла своим чередом.

Утром Ефим просыпается от легкого стука. Это упала газета «Известия», просунутая лифтершей в дверную щель. Щель эта делалась для почтового ящика, который должен был висеть изнутри. Но ящика нет. Ефим хотел заказать этот ящик еще до рождения Тишки, да все откладывал, а теперь и не нужно. Отличный естественный будильник для чутко спящего человека.

Ефим встает и, обернув свое щуплое мохнатое тело зеленым махровым халатом, шлепает в коридор, подбирает газету и с газетой – в уборную. Затем, ополоснувши лицо, на кухню – готовить завтрак для Тишки. Пока жарится яичница, варится кофе, ставятся на стол хлеб, масло, в комнате Тишки при помощи таймера включается магнитофон «Панасоник», подарок родителей. Звуки рок-музыки звучат сперва приглушенно. Затем резкое усиление звука: Тишка, идя в уборную, дверь свою оставил открытой. Звук стихает: Тишка опять закрылся, делает зарядку с гантелями. Музыка опять гремит на всю квартиру: Тишка пошел в душ, все двери открыты. Наконец музыка неожиданно глохнет, и Тишка появляется на кухне умытый, причесанный, аккуратно одетый: джинсы «Ранглер», синяя полуспортивная финская курточка, белая рубашка, темно-красный галстук.

– Здорово, папан!

– Доброе утро!

Тишка садится завтракать. Ефим с удовольствием смотрит на сына: высокий, светловолосый, глаза серые, Кукушины. С сыном Ефиму повезло. Учится отлично, не пьет, не курит, занимается спортом (теннис и карате). Всегда занят: аспирант, член студенческого научного общества, член институтского бюро комсомола, председатель совета народной дружины.

Ест яичницу, прихлебывает кофе, без интереса скользит глазами по газете. Прием в Кремле. В Туркмении идет посевная. Честь и совесть партийного руководителя. Напряженность в Персидском заливе. Спорт, спорт, спорт...

– Ты сегодня поздно придешь? – спрашивает отец.

– Поздно. У нас сегодня вечером эстрадный концерт, а потом дежурство в дружине.

– Значит, к ужину тебя не ждать?

– Нет.

Вот и весь разговор. Тишка уходит, а Ефим опять варит кофе и жарит яичницу, теперь уже себе и Кукуше. А как только Кукуша ушла, посуду помыл и – к столу, чтобы написать за день свои четыре страницы, такая у него в среднем дневная норма.

Сейчас он только что приступил к работе над новым романом. Вернее, даже не приступил, а вложил в машинку чистый лист финской бумаги (ее недавно выдавали в Литфонде), написал вверху «Ефим Рахлин», написал посередине название «Операция» и задумался над первой фразой, которая ему всегда давалась с большим трудом. Хотя сюжет был обдуман полностью.

Сюжет (опять медицинский) развивался где-то посреди Тихого океана на исследовательском судне «Галактика». У одного из членов экипажа приступ аппендицита. Больной нуждается в немедленной операции, а делать ее некому, кроме судового врача. Но все дело в том, что именно он-то и заболел. Конечно, узнав о случившемся, хорошие люди во Владивостоке и в Москве обмениваются радиограммами, связываются с капитанами судов, те, естественно, тут же меняют курс и идут на помощь, но им, как во всех романах Рахлина, противостоят силы природы: шторм, туман, дождь и обледенение. Короче говоря, больной доктор принимает единственно возможное решение. Взяв ассистентом штурмана, который держит зеркало, док-

тор сам делает себе операцию. Но хорошие люди в это время тоже не сидят сложа руки. Как раз к концу операции к борту «Галактики» подходит флагман китобойной флотилии «Слава». Врач флагмана, рискуя жизнью, добирается до «Галактики», поднимается со своим чемоданчиком по веревочной лестнице, однако операция уже позади.

«Ну что ж, коллега, – осмотрев шов, говорит прибывший, – операция проведена по всем правилам нашего древнего искусства, и мне остается вас только поздравить».

«Тсс!» – приложив палец к обескровленным губам, шепчет прооперированный и включает стоящий на тумбочке рядом транзисторный приемник «Романтика».

Дело в том, что у него как раз сегодня день рождения и радиостанция «Океан» по просьбе его жены передает любимый романс доктора «Я встретил вас, и все былое...».

Написав название романа «Операция», Ефим задумался и попытался себе представить, как будет выглядеть это слово, если его изобразить по вертикали. Дело в том, что названия всех его романов последнего времени всегда состояли из одного слова. И не случайно. Ефим давно заметил, что популяризации литературных произведений весьма способствует включение их названий в кроссворды. Составители кроссвордов являются добровольными рекламными агентами, которых иные авторы недооценили, называя свои сочинения многословно вроде «Война и мир», «Горе от ума» или «Преступление и наказание». В других случаях авторы оказались дальновиднее, пустив в оборот название «Полтава», «Обломов», «Недоросль» или «Ревизор».

Ефим втайне гордился тем, что сам, без посторонней подсказки открыл такой нехитрый способ пропаганды своих сочинений. И время от времени пожинал плоды, находя в кроссвордах, печатавшихся в «Вечерке», «Московской правде», а то и в «Огоньке», заветный вопрос: «Роман Е. Рахлина». И тут же, подсчитав количество букв, радостно вписывал: «Лавина». Или «Скважина». Или (было у него и такое название) «Противовес». Слово из восьми букв «Операция» тоже для этой цели весьма годилось. А кроме того, подходило и для своеобразной шарады, которая только что пришла ему в голову. У него даже дух захватило, и он сначала записал шараду на отдельном листе бумаги, а потом позвонил Кукуше на работу:

– У тебя пара минут найдется?

– А что? – спросила она.

– Слушай, я придумал шараду. Первые пять букв – крупное музыкальное произведение, вторые пять букв – переносная радиостанция, а все вместе будущий роман Рахлина из восьми букв.

– Лысик, не морочь мне голову, у меня через пять минут запись.

– Ну хорошо, хорошо, – заторопился он. – Я тебе не мешаю. Я тебе только скажу, первая часть – опера...

– Лысик, – завопила Кукуша, – иди ты в жопу со своей оперой. – К указанному адресу Кукуша добавила несколько заковыристых выражений.

Она всегда так высказывалась, и Ефиму это нравилось, хотя сам он подобных слов избегал.

Он положил трубку и посмотрел на часы. Было четверть десятого, и Баранов, если вчера не перепил, может, уже проснулся. Он позвонил Баранову.

К телефону долго не подходили. Он намерился положить трубку, но тут в ней щелкнуло.

– Але! – услышал он недовольный голос.

– Привет, – сказал Ефим. – Я тебя не разбудил?

– Конечно, разбудил, – сказал Баранов.

– Ну, тогда извини, я тебе просто хотел загадать шараду.

– Шараду?

– Очень интересную. Первая половина слова из пяти букв – крупное музыкальное произведение, вторая половина из пяти букв – переносная радиостанция, а все вместе – хирургическое вмешательство из восьми букв.

– Слушай, старик, я вчера в Доме литераторов слегка перебрал, но ты ведь не пил. Ты арифметику давно проходил? Пять и пять сколько будет?

Улыбаясь в трубку, Ефим стал объяснять, что его шарада усложненная и состоит из двух частей, как бы налезających друг на друга.

– Понимаешь, первая часть – опера, вторая часть – рация, последний слог первого слова является первым слогом второго слова, а все вместе – мой новый роман.

– Ты опять пишешь новый роман? – удивился Баранов.

– Пишу, – самодовольно признался Ефим.

– Молодец! – похвалил Баранов, громко зевая. – Работаете без простоев. Пишете быстрее, чем я читаю.

– Кстати, – напомнил Ефим, – ты «Лавину» прочитал?

– «Лавину»? – переспросил Баранов. – Что еще за «Лавина»?

– Мой роман. Который я тебе подарил на прошлой неделе.

– А, ну да, – сказал Баранов. – Помню. А зачем ты спрашиваешь?

– Ну, просто мне интересно знать твое мнение.

– Ты же знаешь, мнение мое крайне отрицательное.

– А ты прочел?

– Конечно, нет.

– Как же ты можешь судить?

– Старик, если мне дают кусок тухлого мяса, мне достаточно его укусить, но обязательно дожевывать до конца.

Разговор в таком духе они вели не первый раз, и сейчас, как всегда, Ефим обиделся и стал кричать на Баранова, что он хам, ничего не понимает в литературе и не знает, сколько у него, Ефима, читателей и сколько ему приходит писем. Кстати, только вчера пришло письмо от одной женщины, которая написала, что они «Лавину» читали всей семьей, а она даже плакала.

– Вот слушай, что она пишет. – Ефим придвинул к себе письмо, которое лежало перед ним на виду: – «Ваша книга своим гуманистическим пафосом и романтическим настроением выгодно отличается от того потока, может быть, и правдоподобного, но скучного описания жизни, с бескрылыми персонажами, их приземленными мечтами и мелкими заботами. Она знакомит нас с настоящими героями, с которых хочется брать пример. Спасибо вам, дорогой товарищ Рахлин, за то, что вы такой, какой вы есть».

– О боже! – застонал в трубку Баранов. – Надо же, сколько еще дураков-то на свете! И кто же она такая? Пенсионерка небось. Член КПСС с какого года?

Баранов попал в самую точку. Читательница действительно подписалась Н. Круглова, персональная пенсионерка, член КПСС с 1927 года. Но Ефим этого Баранову не сказал.

– Ну ладно, – сказал он, – с тобой говорить бесполезно. Не поймешь. – И бросил трубку.

Настроение испортилось. Писать уже не хотелось. Столь легко сложившийся замысел «Операции» больше не радовал. Хотя последний эпизод, где прооперированный доктор слушает любимый романс, по-прежнему казался удачным.

– Дурак, – сказал Ефим, воображая перед собою Баранова. – Нахал! Чья б корова мычала. Я написал одиннадцать книг, а ты сколько?

На этот вопрос ответить было нетрудно, потому что за всю жизнь Баранов написал всего одну повесть, был за нее принят в Союз писателей, трижды ее переиздавал, но ничего больше родить не мог и зарабатывал на жизнь внутренними рецензиями в Воениздате и короткометражными сценариями на Студии научно-популярных фильмов (в просторечии «Научной»).

Впрочем, Ефим злился не только на Баранова, но и на себя самого. Он сам не понимал, почему позволял Баранову так с собой обращаться, почему терпел от него все обиды и оскорбления. Но факт, что позволял, факт, что терпел. Иногда Ефим вступал в долгие споры о ценности своего творчества, и тогда Баранов предлагал ему или посмотреть в зеркало, или срав-

нить свои писания с книгами Чехова. Насчет зеркала Баранов был, ничего не скажешь, прав. Иногда Ефим и в самом деле подходил к стоявшему в коридоре большому трюмо, пристально вглядывался в свое отражение и видел перед собой жалкое, лопухое, сморщенное лицо с мелкими чертами и голым теменем, по которому рассыпалась одна растущая посередине и закручивающаяся мелким бесом прядь. И видел большие, выпученные еврейские глаза, в которых не было ничего, кроме бессмысленной какой-то печали.

Но что касается Чехова, Ефим читал его часто и внимательно. И ничего не мог понять. Читая Чехова, он – нет, он, конечно, никому и никогда бы в этом не признался, – но, читая Чехова, он каждый раз приходил к мысли, что ничего особенного в чеховских писаниях нет и он, Рахлин, пишет не хуже, а может быть, даже немного лучше.

Ефим нервно ходил по комнате. Злясь на Баранова и на себя самого, он размахивал руками, бормотал что-то бессвязное, корчил рожи, а иногда даже по-старомодному, как лейб-гвардии офицер (неизвестно, откуда в нем проснулся этот не соответствующий его происхождению атавизм), вытягивался в струнку, щелкал пятками (никак не каблуками, потому что был в мягких шлепанцах), делал резкий кивок головой, сквозь зубы произносил: «Нет уж, увольте!» – и несколько раз даже плюнул в лицо воображаемого оппонента, то есть Баранова.

Умом Ефим сознавал, что в его дружбе с Барановым нет никакого смысла. Он был согласен с Кукушей, которая не понимала, что его связывает с Барановым. «Он меня любит», – отвечал ей Ефим, хотя сам в это не верил. Верил не верил, но что-то такое между ним и Барановым было. Если не любовь, то привязанность. Да такая привязанность, что оба, обмениваясь взаимными оскорблениями и попреками, одного дня не могли обойтись друг без друга, а может быть, и без самих этих попреков и оскорблений.

Не понимая этого до конца, Ефим решил прекратить с Барановым всякие отношения. Он решил это совершенно твердо (так же твердо, как решал это тысячу раз) и почувствовал (в тысячу первый раз) облегчение и успокоенность. В конце концов, он не один, у него есть любимая жена, есть любимый сын, есть блудная дочь, тоже, впрочем, любимая. Да, она уехала, но их отношения сохранились, она пишет, он пишет, и они все еще близки. И кроме того, у него есть неистощимый источник муки и радости – его работа. Вот он сейчас опять сядет за машинку, ему надо только придумать первую фразу, а там дальше дело пойдет само по себе. Пусть про него говорят, что он не очень хороший писатель. А где критерии, кто хороший, а кто не хороший? Нет критериев. Во всяком случае, самому Ефиму нравилось, как он пишет, и он хорошо знал, что, если бы его не печатали и не платили денег, он все равно писал бы для себя самого. Но его печатают довольно внушительными тиражами и платят такие деньги, каких он не имел никогда. В свое время, будучи рядовым сотрудником журнала «Геология и минералогия», он за зарплату, во много раз меньшую, вынужден был ежедневно ходить на работу, выслушивать нарекания начальства, когда опаздывал (что, правда, случалось редко), и отпрашиваться в поликлинику или в магазин.

Сейчас он сочинит первую фразу, а там все пойдет своим чередом. Появятся описания природы, появятся люди, они вступят между собой в какие-то взаимоотношения, и начнется тот тайный, необъяснимый и не каждому подвластный процесс, который называется творчеством.

Пересилив себя, Ефим сел за машинку, и само собой написалось так:

«Штормило. Капитан Коломийцев стоял на мостике и тоскливо озирает взбесившееся («именно взбесившееся», – подумал Ефим) пространство. Огромные волны громоздились одна за другой и бросались под могучую грудь корабля с самоотверженностью отчаянных камикадзе...» Сравнение волн с камикадзе понравилось Ефиму, но он вдруг засомневался, как правильно пишется это слово – «ками-» или «комикадзе». Он придвинул к себе телефон и механически стал набирать номер Баранова, но тут же вспомнил о своем бесповоротном решении.

Не успел опустить трубку, как его собственный телефон зазвонил. Ефим всегда утверждал, что по характеру звонка можно догадаться, кто звонит. Начальственный звонок обычно резок и обрывист, просительский – переливчат и вкрадчив. Сейчас звонок был расхлябанный, наглый.

– Ну что тебе еще? – спросил Ефим, схватив трубку.

– Слушай, слушай, – зашепелявил Баранов, – я тебе совсем забыл сказать, что писателям шапки дают.

– Понятно, – сказал Ефим и бросил трубку. Но бросил не для того, чтобы нагрубить Баранову, а по другой причине.

Надо сказать, что Ефим и Баранов, живя на порядочном расстоянии друг от друга, чаще всего общались по телефону. По телефону обсуждали все волнующие их проблемы и события, которых бывало всегда в изобилии. Сплетни о тех или иных своих коллегах, об очередном заседании в секции прозы, о том, кто где проворовался, к кому от кого ушла жена и о многих политических событиях. Они критиковали колхозную систему, цензуру, книгу первого секретаря Союза писателей, обсуждали все события на Ближнем Востоке, побег на Запад очередного кагэбэшника, заявление новой диссидентской группы, передавали друг другу новости, услышанные по Би-би-си. А для того чтобы их никто не подслушал или, подслушав, не понял, они разработали (отчасти стихийно) сложнейшую систему иносказаний и намеков, что-то вроде особого кода, в соответствии с которым все имена, названия и основные направления их размышлений были искажены до неузнаваемости. Сами же они понимали друг друга с полуслова. И если, например, Ефим сообщал Баранову, что, по словам бабуся, в Лондоне наметился большой урожай грибов, то Баранов, заменив в уме «грибы» «шампиньонами», а шампиньоны – шпионами, понимая, что под «бабусей» имеется в виду Би-би-си, делал вывод, что, по сообщению этой радиостанции, из Лондона высылаются большая группа советских шпионов. Разумеется, такой высылке оба радовались, как радовались в жизни всем другим неудачам и неприятностям государства, того самого, ради которого книжные герои Ефима охотно рисковали и жертвовали отдельными частями своего тела и всем телом целиком. А когда, например, Баранов позвонил Ефиму и сказал, что может угостить свежей телятиной, тот немедленно выскочил из дому, схватил такси и поперся к Баранову к черту на кулички в Беляево-Богородское вовсе не в расчете на отбивную или ростбиф, а приехав, получил на очень короткое время то, ради чего и ехал, – книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом».

Итак, Баранов позвонил и сказал, что писателям дают шапки. Ефим сказал: «Понятно» – и бросил трубку, чтобы не привлекать внимания тех, кто подслушивает. И стал думать, что мог Баранов иметь в виду под словом «писатели» и под словом «шапки».

Естественно, ему пришло в голову, что речь идет о группе экономистов, которые недавно написали открытое письмо о необходимости более смелого расширения частного сектора. Это письмо попало на Запад, его передавали Би-би-си, «Голос Америки», «Немецкая волна», «Свобода» и канадское радио. Теперь, вероятно, этим «писателям» дали «по шапке». Ефиму хотелось узнать подробности, и он взглянул на часы. Было еще слишком рано. Все радиостанции, которые он слушал, вещали только по вечерам, а работавшую круглосуточно «Свободу» в его районе не было слышно.

До вечера ждать было слишком долго, и он, забыв о своем прежнем решении, позвонил Баранову.

– Я насчет этих шапок, – сказал он взволнованно. – Их уже выдали или только собираются?

– Их не выдают, а шьют, – объяснил Баранов.

– Что ты говоришь! – вскричал Ефим, поняв, что «писателям» «шьют дело», то есть собираются посадить.

– А что тебя удивляет? – не понял Баранов. – Ты разве не слышал, что на последнем собрании Лукин говорил, что о писателях будут заботиться еще больше, чем раньше. Что в Сочи строят новый Дом творчества, в поликлинике ввели курс лечебной гимнастики, а в Литфонде принимают заказы на шапки. Я вчера там, кстати, был и заказал себе ушаночку из серого кролика.

– Так ты мне говоришь про обыкновенные зимние шапки? – осторожно уточнил Ефим.

– Если хочешь, то можешь сшить себе летнюю.

Ефим ни с того ни с сего разозлился.

– Что ты мне звонишь, голову с утра морочишь! – закричал он визгливо. – Ты знаешь, что утром у меня золотое время, что я утром работаю!

Он бросил трубку, но через минуту поднял ее снова.

– Извини, я погорячился, – сказал он Баранову.

– Бывает, – сказал тот великодушно. – Кстати, в поликлинике работает новый психиатр. Кандидат медицинских наук Беркович.

Ефим пропустил подковырку мимо ушей и спросил, что именно Баранову известно о шапках. Тот охотно объяснил, что по решению правления Литфонда писателям будут шить шапки соответственно рангу. Выдающимся писателям – пыжиковые, известным – ондатровые, видным – из сурка...

– Ты понимаешь, – сказал Баранов, – что выдающиеся писатели – это секретари Союза писателей СССР, известные – секретари Союза писателей РСФСР, видные – это Московская писательская организация. К видным могут быть причислены некоторые не секретари, а просто писатели.

– Вроде нас с тобой, – подсказал Ефим и улыбнулся в трубку.

– Ну что ты, – охладил его тут же Баранов. – Ну какие ж мы с тобой писатели! Мы с тобой члены Союза писателей. А писатели – это совсем другие люди. Им, может быть, дадут что-нибудь вроде лисы или куницы, я в мехах, правда, не разбираюсь. А нам с тобой кролик как раз по чину.

Ефим сознавал, что именно таким образом выглядела иерархия в Союзе писателей, но Баранов все же зарывался, сравнивая Ефима с собой, о чем ему следовало напомнить. Ефим, однако, сдержался и ничего не сказал, потому что Баранов был, в общем-то, прав. Написав одиннадцать книг, Ефим хорошо знал, что, даже если он напишет сто одиннадцать, начальство все равно будет ставить его на самое последнее место, ему все равно будут давать худшие комнаты в Домах творчества, никогда не подпишут на журнал «Америка», никогда не напечатают фотографию к юбилею, ну и шапку дадут, конечно, самую захудалую. В таком положении были и свои (другим, может быть, незаметные, но Ефиму очевидные) преимущества: ему никто не завидовал, никто не зарился на его место, а он втихомолку продолжал тискать романы о хороших людях.

Поэтому и сейчас он не стал спорить с Барановым и сказал, пусть, мол, за шапки борются те, кому нечего делать, а у него есть своя шапка, волчья, ему в прошлом году подарили оленеводы.

Положив трубку, он вынес телефонный аппарат в другую комнату и накрыл его подушкой, чтоб не мешал. Вернулся к машинке и, впад в некий раж, стал быстро-быстро стучать по клавишам, не соображая, что пишет. А писал он вот что: «В Литфонде писателям дают шапки. Может быть, это даже хорошие шапки, но мне они не нужны. Потому что у меня есть своя шапка. У меня есть очень хорошая шапка. У меня есть волчья шапка. Она теплая, она мягкая, и никакая другая шапка мне не нужна. Пусть другие борются за шапки.

Пусть за шапки борются те, кому делать нечего. А мне есть что делать, и шапка у меня тоже есть. У меня есть совсем новая волчья шапка. Она мягкая, она теплая, она хорошая. А

ваша шапка мне не нужна, можете оставить ее себе, можете ее скушать, можете ею подавиться, если не сможете ее прожевать».

На этом месте он сам себя остановил, перечитал написанное и удивился. С ним и раньше бывало, что он писал, находясь как бы не в себе, но обычно это все-таки имело какое-то отношение к разрабатываемому сюжету. А тут получилась какая-то чепуха. Выкривив обе губы в выражении, означающем крайнюю озадаченность, Ефим покачал головой и сунул лист под кипу лежавших справа от машинки старых черновиков. Именно этот текст даст впоследствии повод критику Сорокину сказать, что талант Рахлина не был оценен по достоинству. Но надо сказать, что и сам Ефим свое сочинение тоже не оценил. Поэтому, вставив новый лист, он опять принялся сочинять что-то про капитана Коломийцева, который стоял на штормовом ветру и придерживал рукой шапку, чтоб не слетела.

Он заметил, что опять написал слово «шапка» неосознанно. Разозлился на себя, шапку вычеркнул и вписал фуражку с выцветшим «крабом».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.